

© А.Н. Алтухова

«УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ»: ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ О СВОЕМ ДЕТСТВЕ

Статья посвящена специфическому нарративному жанру «ужасные истории», его прагматике и значению. Используя концепцию «жалость на экспорт», предложенную Маргаритой Астоянц (Астоянц 2006), автор на материалах биографических интервью с выпускниками интернатных учреждений для умственно отсталых, ставших участниками проекта сопровождаемого проживания, исследует стратегии выстраивания нарративной идентичности информантов в коммуникации с интервьюером. Анализ демонстрирует, что фрейм биографического интервью, участники которого занимают крайне различное социальное положение, вызывает к жизни определенную стратегию – демонстрацию в первую очередь уникального и экстремального опыта. Так, информанты обращались к историям об «ужасах» детского дома-интерната или психоневрологического интерната, где они жили после достижения восемнадцати лет, создавая драматические повествования о насилии в учреждениях и принудительном психиатрическом лечении. Цель данной стратегии – вызывать у слушателя интерес, уважение или сочувствие, которое в крайнем случае может обрести форму просьбы о помощи или желания получить некоторую выгоду. Помимо этого, «ужасные истории» оказываются для людей, имеющих на нынешний момент статус опекаемых, способом заявить о собственной агентности и субъектности, корни которых информанты обнаруживают еще в детстве, наполненном насилием и невзгодами.

Ключевые слова: интеллектуальная инвалидность, анализ нарративов, ужасная история, умственная отсталость, сироты

Ссылка при цитировании: Алтухова А.А. «Ужасные истории»: воспоминания бывших воспитанников детского дома-интерната для детей с умственной отсталостью о своем детстве // Вестник антропологии, 2021. № 1 (53). С. 61–73.

Введение

В нашей культуре нередко умственная отсталость ведет к исключению индивида из общества, определяя отношение остальных членов к нему. Так, в недавнем прошлом – в конце 1990-х – начале 2000-х – интеллектуальные отличия ребенка могли стать причиной отказа семьи от него, в особенности, если семья была «не-

Алтухова Анна Николаевна – ассоциированный научный сотрудник, Европейский университет в Санкт-Петербурге (191187 Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 1). Эл. почта: ann.tract@gmail.com

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта № 20-09-00063 «Инвалидность как социокультурный феномен на постсоветском пространстве: социально-антропологический и кросс-культурный анализ»

благополучна», или если у ребенка были хотя бы малейшие физические отклонения (*Ярская-Смирнова, Тепер, Грек* 2008). Интеллектуальные отличия, как и психические или поведенческие, в разных обществах зачастую определяются как девиация, становясь своеобразным ярлыком. Говард Беккер на примере потребителей марихуаны (*Беккер* 2018) и Томас Шефф, описывая положение людей с психическими расстройствами (*Scheff* 1966), разработали теорию приклеивания ярлыков. Ярлык не только определяет отношение к индивиду, но накладывает на него некоторые ограничения и задает характерные сценарии взаимодействия с ним.

Так, в нашей культуре интеллектуальные отличия ребенка нередко приводили его в интернатную систему, где он начинал испытывать последствия нового ярлыка – сиротства. Сиротство само по себе в значительной мере влияет на судьбу ребенка (см., напр., Бреева 2004, *Schmidt* 2009), но в случае с детьми, имеющими даже несущественные отличия в интеллектуальной деятельности, этот ярлык в нашем обществе оказывал на них еще более заметное влияние, фактически лишал возможности встроиться в образовательный трек, ведущий к взрослой самостоятельной жизни. Будучи социальными сиротами¹, такие дети распределялись по существующей сети школ-интернатов для умственно отсталых, а некоторые отправлялись еще «ниже»² – в детские дома-интернаты для умственно отсталых (далее ДДИ), получив официальный психиатрический диагноз.

Несмотря на запрет отправлять в эти учреждения тех, кто не имел серьезных когнитивных нарушений (*Матюшева* 2010: 149), вероятнее всего, это случалось. Например, такая участь была характерна для многих детей с синдромом Дауна (*Dunn* 2000: 157). Западные правозащитники сплошь и рядом обнаруживали, что большинство детей, причисленных к «олигофренам», не имели видимых признаков физических или умственных недостатков и получали направления в эти учреждения без основательной экспертизы (*Bilson, Markova* 2007: 61, *Cox* 1997: 112–113), например, из-за «плохого» поведения (*Астоянц* 2006: 60, *Rockhill* 2010: 224).

Мой фокус внимания сосредоточен главным образом на выпускниках ДДИ, которые до совсем недавнего времени – до 2014 года – считались «необучаемыми» и не получали школьного образования³. Они были лишены возможности не только поступить в училище, но и по факту в принципе покинуть интернатную систему, поэтому многие из них заканчивали свою жизнь в психоневрологических интернатах (далее ПНИ).

Альтернативу такому институциональному пути предлагают общественные организации, движимые концепцией «нормализации» как детства (в отношении сирот), так и инвалидности. Этот подход, с одной стороны, декларирует, что человек с инвалидностью, вне зависимости от тяжести нарушений, имеет право на «нормальную» жизнь

¹ Их число сразу после распада Советского Союза резко увеличилось и росло на протяжении всех 1990-х годов (*Дементьева* 2011: 108). По некоторым данным к 1998 году при живых родителях в детских домах и интернатах находилось уже 650–750 тысяч детей по сравнению с 284 тысячами в 1987 году во всем Союзе в целом (*Elliott* 2008: 4–6).

² О «нисходящих» сиротских траекториях: от детского дома в дом для инвалидов или вспомогательную школу, или в детский дом для «трудных» детей, а после еще «ниже» в исправительную колонию (*Келли* 2008).

³ В 2014 году Министерство образования выпустило «Разъяснения о порядке получения образования воспитанниками, проживающими в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 2014 г. № ВК-1048/07), призывая соответствующие учреждения предоставлять всем детям возможность получать образование.

наравне с другими людьми (Nirje 1970), а с другой, что каждый ребенок имеет право на «обычное» детство. Благодаря усилиям НКО воспитанники детских домов-интернатов выходили из интернатной системы и начинали жить среди «обычных» людей. Такие проекты называются сопровождаемое проживание. Это явление в России еще совсем малоразвито¹, и поэтому истории людей, вышедших из интернатной системы и ставших подопечными НКО, представляются мне крайне интересными.

Описание кейса

Эта статья основана на анализе биографических интервью с выпускниками ДДИ для детей с умственной отсталостью, находящегося в одном из нестоличных регионов России в небольшом городе Пылегорск². Информантов я нашла благодаря благотворительной организации «Первоцвет», которая создала условия для их самостоятельной жизни. Изначально, более десяти лет назад, «Первоцвет» задумывался как организация, содействующая устройству детей из детского дома в семьи, но постепенно руководство приняло решение переключиться на создание собственного проекта сопровождаемого проживания. В результате было открыто несколько квартир, где воспитанники ДДИ и ПНИ могли пробовать жить самостоятельно. Сегодня в НКО работают местные жители, но когда организация только создавалась, большая часть сотрудников состояла из москвичей и иностранных волонтеров. Эта НКО, в отличие от многих других, появившихся в 1990-х – начале 2000-х, всегда придерживалась светских принципов оказания помощи.

Почти все подопечные «Первоцвета» имеют диагноз «умственная отсталость», за исключением двух девушек, у которых инвалидность по зрению. В зависимости от готовности жить самостоятельно, оцениваемой сотрудниками, подопечные делятся на две группы: часть из них живет в квартирах сопровождаемого проживания, другие – в своих квартирах, которые они получили как сироты от государства. Первые находятся под круглосуточным наблюдением сотрудников, вторые консультируются с педагогами только время от времени по важным и сложным вопросам, типа планирования бюджета.

Моими информантами стали двадцать восемь человек: шестнадцать мужчин и двенадцать женщин в возрасте от 25 до 35 лет. Время пребывания в статусе подопечного НКО у всех разное: кто-то попал в проект еще в подростковом возрасте, а кто-то всего несколько месяцев назад. За все время полевой работы было собрано тридцать восемь биографических интервью длительностью от сорока минут до трех часов. Многие интервью были парными, практически со всеми информантами я поговорила дважды.

Интервью, которые я собирала, касались разных этапов жизни моих информантов: я обсуждала с ними время, проведенное в семье, попадание в детский дом и жизнь в нем, выход из интернатной системы и нынешнее положение в статусе подопечных НКО. Мое внимание привлекло то, что многие могли подробно передать только «ужасные» сюжеты в своей биографии, в то время как другие эпизоды они упоминали лишь вскользь или передавали несвязно. Меня заинтересовала прагматика этих сюжетов и их значение в конструировании нарративной идентичности моих информантов – этим аспектам и будет посвящена статья.

¹ О некоторых аспектах развития сопровождаемого проживания в российском контексте я писала в других своих работах (Алтухова 2018а, Алтухова 2018б).

² Все географические название и имена изменены.

Я опираюсь на интеракционистский подход к анализу нарративов, предложенный Катрин Рисман и развитый многими другими исследователями (*de Fina, Georgakopoulou* 2011, *Langellier* 2001, *Riessman* 2000a, *Riessman* 2000b). В рамках этого подхода, нарратив – это продукт коллаборации рассказчика и слушателя, и всегда поэтому глубоко контекстуален (*Riessman* 2000a: 173, 175). Вступая во взаимодействие со слушателем, нарратор выбирает некоторое «я», которое он хочет представить в этом контексте и может переключаться между разными презентациями себя в зависимости от прагматики (*Langellier* 2001: 3).

Истории о жизни в семье

Многие мои информанты попали в интернатную систему в раннем детстве. Причин и вариантов того, как именно произошел разрыв в семье и определение ребенка в интернат, я встретила множество. Например, Нину мать-одиночка оставила в больнице, потому что она была «слабым ребенком». Артем до тринадцати лет рос с матерью, но она стала пить, и его тетя, «чтобы ничего не случилось», определила в приют. Надя оказалась в детском доме после сообщений соседей в органы опеки о том, что родители девочки пьют и регулярно ее избивают. Вита, по ее словам, сама обратилась к сотрудникам опеки, после того, как пьяная мать чуть не сожгла дом. Тася оказалась в интернатной системе в два года, когда воспитывающая ее мать попала в психиатрическую больницу. Иначе говоря, все мои информанты пришли в интернатную систему из неблагополучных семей, и поэтому детство их было «не сладким», как говорят они сами.

Один мой информант заметил: «Приехавши в интернат, я спрашиваю: а ты что? Ну, я извиняюсь, это спрашиваешь, узнаешь, это как в тюрьме, то есть за что попал, по какой причине» [Егор, январь 2018]. Между сиротами в детском доме, как я полагаю, существуют определенные традиции нарративизации своего прошлого: пересказывая сюжеты из своей жизни друг другу, по-видимому, они формируют диапазон историй или некоторые каноны представления себя. Один из таких канонів – «ужасная история».

Почти в каждом интервью я слышала фразы, типа «мать и отец меня кинули, я им не нужен». Но помимо этого, рассказывая о семье, мои информанты зачастую сообщали мне о домашнем насилии и вопиюще трудных жизненных обстоятельствах. Я хочу остановиться на одной такой истории – на рассказе Нади. На момент интервью ей было 25 лет, и она уже несколько лет как вышла из-под постоянного сопровождения. Надин рассказ про «ужасы» в семье самый подробный из тех, что я услышала, и он настолько велик, что занимает несколько страниц сплошного текста.

Началась эта тема с истории о Надиной маме, которая выгоняла ее зимой на улицу в одних трусах, а после Надя стала вспоминать и о других членах семьи:

У меня, короче, была с родителями не очень такая сладкая жизнь. Потому что они пили, они дрались, и я вот на это все смотрела. И вот только мой папа, например, маму дома бьет. Когда папа мой маму бьет, когда они напьются, я вот так уши затыкаю, бегу, за бабушку прячусь, я говорю: Бабушка! Маму бьет папа! Бабушка подбегает, говорит: ты что, говорит, сын, ты же зачем, говорит, жену свою бьешь? А он говорит: ты не лезь, а то тебе попадет! [...] Он пьяный, опять напился, взял стул и в бабушку, в свою мать, кинул стулом! Бабуш-

ка потом, я говорю: бабушка, давай милицию вызовем! [...] Потом папа придет и на меня начинает кричать, говорит: ты тоже у меня сейчас, молокососка, получишь! Я говорю: ты бабушку мою не имеешь права, говорю, обижать. [...] Короче, я очень много, много-много-много-много в своей жизни плохое пережила, вот. И вот тетя всегда Вере [сотрудница «Первоцвета»] говорит: пожалуйста, говорит, берегите Надю, она очень так плохо пережила, говорит, она, говорит, мама ее была, папа ее бил, говорит, никто, говорит, не любил, кроме меня, но вот берегите ее. Она очень-очень-очень много пережила. А Вера говорит: да, мы верим. [...] И тетя говорит: и похороны она пережила, и вот эту пьянку, говорит, все пережила, молодец, говорит [Надя, январь 2018].

Пик «ужасов» Надя относит к возрасту десяти лет, когда ее из семьи изъяли органы опеки. Несмотря на значительную отдаленность этих событий по отношению к настоящему моменту, Надя легко насыщает свой рассказ подробностями, и перед слушателем постепенно разворачиваются все более и более «ужасные» события: от побоев и пьяных выходов отца Надя переходит к рассказу о том, что вся ее еда в детстве была найдена матерью на помойке, а потом вспоминает, как отец ударил мать ножом в живот и изнасиловал ее старшую сестру. Не имея достаточно лексических средств для создания нужного напряжения, Надя использует повторы и однообразные конструкции, но драматизм повествования создается за счет включения прямой речи и использования настоящего времени.

Несмотря на весь «ужас» происходящего и малый возраст героини, на протяжении всего рассказа Надя заявляет о себе как о действующем субъекте: именно она предлагает вызывать милицию, она защищает бабушку и мать перед отцом. История о домашнем насилии становится способом рассказать о противостоянии ему. И я хочу обратить внимание на пересказанный Надей разговор ее тети и сотрудницы «Первоцвета». Вставляя этот диалог, Надя подсказывает слушателю, как нужно относиться к ее историям – необходимо признать, что она «молодец», и испытать особенное чувство от столкновения с таким уникальным и экстремальным опытом. Постулирование подобной уникальности оказывается общей чертой всех подобных историй, которые мне довелось услышать.

Рассказы о жизни в ДДИ

В интернатной системе мои информанты провели разное время: кто-то несколько лет, а кто-то больше пятнадцати, кто-то сразу попал в ДДИ, кто-то прошел через несколько сиротских учреждений, прежде чем оказаться там. Несмотря на столь разный опыт, практически в каждом интервью мои информанты касались темы «таблеточек», которыми их «пичкали» в детском доме. Разобраться в прагматике таких историй я хочу на примере рассказа Паши:

Укол дадут, укол в жопу, и спать. Потом встаешь, стены одни (смеется). И все. А как там было, как, когда – сам не помнишь. И все. Ну доза вот, доза большая. Я сам раз вот испытал, ну там, побег у меня был с пацанами. У меня мужской блок был, второй этаж. А мы, три часа ночи, короче, побежали. Зима была еще, градусов 15. На шторке, вверх, вниз. Ну нам укол, короче, нам написали. Если спать не хочешь, нам когда укол давали, мы их сразу, ну кто как. Кто может десять раз так (показывает, как отжимается), ну я постоянно

отжимался, еще когда дома жил. Я могу пятьдесят раз, на кулаках могу. И эта вся дурь, вся идет. Дурь. И не спишь сразу [Паша, январь 2018].

История Паши (и многие другие ей подобные) – это история не послушного мальчика, который подчиняется воспитателям, но того, кто противостоит им, проявляет изобретательность и с легкостью справляется с проблемами. Так, через истории о тяготах жизни в детском доме мои информанты выстраивают образ себя как тех, кто действует по своему усмотрению. Поэтому в рассказах они дерутся с обидчиками, совершают побеги, вальяжно курят прямо в своих комнатах, находят водку, варят картошку при помощи самодельных кипятильников и вместе с потом от отжиманий выводят из тела действующее вещество¹.

Эксклюзивный опыт призван не просто шокировать слушателя, но вызывать «уважение»². Исследователь – это подходящая аудитория для таких историй, поскольку сотрудники «Первоцвета» уже не раз их слышали, и я наблюдала, как они осекали моих информантов при попытке рассказать что-то подобное. Оставшись же наедине со мной, информанты получали возможность произвести впечатление своим рассказом и задержать мое внимание на себе. В этом смысле истории о том, как сегодня педагоги помогают им делать ремонт или совершать покупки в магазине, оказываются менее выигрышными, не столь интересными для слушателя, а, кроме того, рассказывая их, мои информанты вынуждены были сообщать о своей не полной самостоятельности и «подконтрольном» положении. В этом плане выбор именно «ужасных» историй для рассказа кажется вполне понятным, они подходят для поддержания интереса собеседника.

Как и в истории Нади, постулируемая уникальность опыта нередко оказывается сопряжена с агентностью, но часть историй, из тех, что я услышала, была передана от лица «жертвы обстоятельств», как, например, в рассказе Нины:

И: Они [воспитатели] по-человечески были какие люди?

Н: Тоже были нехорошие. Тоже били, еду, бывало, отбирали.

И: А за что?!

Н: Ну, есть хотелось, возьмут котлетку, отломают от ребенка и съедят. Это такое все было, да. И приходилось как бы... ну, мы боялись. Пугливые все были. Мы были, как котятки с большими глазами испуганными [Нина, октябрь 2019].

Рассказав сначала о том, как старшие дети били маленьких и ее в том числе, Нина вспомнила и о воспитателях, которые отбирали еду у воспитанников в и без того «голодные годы». Но Нина, в отличие от многих, не рассказывает о мести сотрудникам – об ограбленном складе с продуктами, например. Она стремится показать свою беспомощность. Создавая картину своей незащитности, многие мои информанты вписывали историю своего сиротства в трудное время, которое переживала вся страна. «Голодные девяностые» становятся значимым фоном происходящих событий, подтверждением безнаказанности тех, у кого была власть:

Ну, девяностые, можно сказать, голодные дни прошли, как мы их называем, называли «голодные дни» тогда, когда были ребята наказаны вообще ни за

¹ Девушки, по рассказам, тоже прибегали к различным техникам, позволяющим ввести врачей в заблуждение, например, прятали таблетку под языком.

² Я вижу большое сходство с тем, что описывает исследователь нарративов Стэнтон Уортам, показывая, как информантка поражает исследователя историями своих абортов (Wortham 2001: 122–128).

что. Это, то есть, извиняюсь, тебе по морде ремнем дадут, еще в комнату да без обеда и без завтрака [Егор, январь 2018].

Как детдомовцы девяностых они вспоминали о случаях сексуального насилия и жестокости в детском доме, о пьяных санитарях и воспитателях, о смертях среди и сирот, и сотрудников¹. Все это, по их рассказам, было возможно только в те года «беспредела», охватившего всю страну. Из одного интервью в другое кочевала одна и та же фраза: «мы не жили, мы выживали».

Я решила сбежать. Ну сколько, наверное, неделю погуляла, в [родной город] съездила. В [родной город] съездила, хотела помощи какой-то услышать или, не знаю. А приехала туда – чужой человек [сестра]. И я поняла, что никому каждый человек не нужен. Если ты сам за себя не постоишь, за тебя никто не будет стоять. Вот я сейчас живу, я стою сама за себя. И защищаю своих детей. Я нужна сейчас только ради для своих детей. И дети нуждаются во мне в этом. Больше я никому не нужна... [плачет, всхлипывает 1 минуту] [Кира, январь 2018].

Это тоже история о побеге из детского дома, но, в отличие от сюжета, который мне передал Паша, она рассказана не для того, чтобы показать силу героини и ее противостояние системе. Начав с описания насилия в детском доме (которое я здесь опускаю), Кира переводит рассказ в плоскость настоящих переживаний, которые, в этой логике, оказываются продолжением тех страданий и лишений, которые она терпела в детстве. Многие мои информанты переживали сильные эмоции, рассказывая об ужасах, но Кириным случаем кажется мне особенным.

Во время интервью Кира методично касалась только тех тем, которые должны были вызвать сочувствие, и круг этих тем был действительно многообразен. Это был по-настоящему «грустный рассказ»² «сироты». Она подробно рассказала, какие лишения терпела в детском доме, как ее избивал муж, как она не может собрать деньги на обувь сыну, как ее дом разваливается, и никто не помогает ей с ремонтом. Апофеозом ее рассказа стала сцена плача. В конце интервью Кира недвусмысленно намекала на то, что ей не хватает денег и она будет рада получить их.

По замечанию Маргариты Астоянц, одна из стратегий детей в детских домах – это «жалость на экспорт»: дети используют свою позицию «сироты» для того, чтобы вызывать жалость у тех взрослых, контакт с которыми может принести им определенную выгоду (Астоянц 2006: 61–62). Мои информанты, видимо, должны быть хорошо знакомы с подобной стратегией. Такие тактики саморепрезентации позволяют и бывшим детдомовцам вызывать у слушателей сочувствие и надеяться на получение некоторых благ.

¹ О подобном обращении с детьми в специальных детских домах писали также люди, которые сами прошли через эту систему, однако вопреки обстоятельствам и ошибочно поставленным диагнозам, стали образованными людьми: например, Тамара Черемнова и Рубен Гальего. Особенности этих и других автобиографий людей с инвалидностью проанализированы в работе Елены Носенко-Штейн (Носенко-Штейн 2018). О жестокости персонала замечала и Анна Клепикова, написавшая монографию от лица волонтера специального детского дома-интерната (Клепикова 2018). Насилие и тяготы – то, с чем сталкивались дети в детских домах и в советское время, и в 1990-х, и что происходит и по сей день в некоторых учреждениях.

² Этот термин вводит Ирвинг Гоффман, обозначая один из вариантов рассказа о себе, при которой субъект выбирает исключительно «провальные» сюжеты (Гоффман 2019: 182). Термин «Ужасная история», предложенный Еленой Ярской-Смирновой и который я использую и в другом значении, тоже видится мне удачным для описания этого феномена (Ярская-Смирнова 1997).

Ужасы в ПНИ

Для моих информантов ПНИ – это место, наделенное совсем иным смыслом, нежели детский дом. Если время, отведенное ребенку в ДДИ, имело зримые границы, то попадание в ПНИ означало одно:

С Пылегорского [ДДИ] потом увозят в детский дом взрослый, в ПНИ. И из ПНёв больше никогда не выходишь. Ну, навечно там остаешься, в ПНях, до старости. И в ПНях там и умираешь, там тебя и хоронят [Надя, январь 2018].

Интернат в представлении многих – это место, где человек может оставить любые надежды, более того, это место, где люди исчезают без следа: некоторые мои информанты по несколько раз в течение разговора возвращались к теме интернатских кладбищ, безымянных могил и уничтоженных личных вещей. ПНИ – одно из самых пугающих мест, откуда сложно выбраться, но об одном из способов мне рассказала девушка Вита:

В: Ну связывалась я с Митей. Вот. А он уже здесь был. И я ему сказала, что я хочу в Пылегорск [В «Первоцвет»]. Ну он меня услышал, я попросила номер [руководителя НКО]. Ну получилось все как, ну, у нас там такое, что вот дают таблетки.

И: В ПНИ?

В: Да, всякие таблетки, психотропные, конечно. Это не выдержишь. Ну не только я, и другие не выдержали бы, конечно. Вот. И каждый любой другой тоже так же хочет уехать, как вот уехала я. Вот. Ну я потом стала созваниваться с Лидией Алексеевной [руководитель НКО], говорить, что я вот хочу очень сюда. Рассказала всю свою проблему, ну что давали таблетки, вот это вот все.

И: А тебе много давали таблеток?

В: Ну давали мне таблеток, ну вот как сказать. Сонапакс, фенотропом там, потом, что давали, этот, унилептил, там еще какие-то называется. Даже доходило такое, даже, что, ну, вот как смертельные уколы колят. То есть мне пытались тоже это сделать. Но я избегала всякими видами [Вита, январь 2018].

Иначе говоря, после серии звонков Вита добилась того, чтобы «Первоцвет» помог ей выйти из интерната, и сейчас она живет в одной из квартир сопровождаемого проживания. Она считает, что все удалось, благодаря ее настойчивому рассказу о таблетках¹. Сам Митя, к которому она обратилась, покинул ПНИ примерно тем же способом. Сначала он звонил сотрудникам «Первоцвета», рассказывая о таблетках, а потом и вовсе сообщил им, что больше не может так жить и собирается повеситься. Насколько я знаю, это не единственные случаи, когда люди выходили из интерната таким образом.

Бывшие подопечные сравнивали ПНИ с тюрьмой и подчеркивали свой статус бесправных заложников. Если из детского дома можно было сбежать на пару часов ради веселья, то рассказ о побеге или выходе из ПНИ – это история обретения настоящей «свободы» и «дееспособности»². Я предполагаю, что подобная риторика могла появиться вследствие контакта с сотрудниками «Первоцвета», которые занимались

¹ О назначении психотропных препаратов проживающим в ПНИ, а также об их частой отправке в психиатрические больницы замечала в своей книге Анна Клепикова (Клепикова 2018: 260–264).

² Категория крайне важная для людей, находящихся в психоневрологическом интернате.

выводом людей из интернатов. Вероятно, активистский дискурс влиял на то, какие варианты саморепрезентации складывались у жителей ПНИ и на их риторические стратегии. Рассказы о таблетках – как раз подходящий пример.

Вместе с тем, если роль «слабого», нуждающегося в помощи человека, для Виты оказывается приемлема, то для Мити нет. И в другом месте своего рассказа он упоминал о других аспектах жизни в ПНИ. Так, он заметил, что в интернате копал «аккумуляторные» ямы для могил и защищал стариков от руководства интерната, создавая образ человека, который видал жизнь не понаслышке. В том же ключе стоит интерпретировать историю о том, как он со своим товарищем Русланом тратил «миллион» (сиротские накопления), катаясь из интерната на такси в ночные клубы. Другой информант – Демид – своему бесправию в ПНИ противопоставлял историю о том, как он запустил в лицо директора интерната камнем за то, что тот воровал его деньги. Таким образом, часть историй о жизни в ПНИ рассказывались мне зачастую, чтобы показать, что и в то тяжелое время мои информанты с невероятной изобретательностью развлекали себя, стараясь избежать наказания. В данном случае, это уже не истории, призванные вызвать жалость, но рассказы о свободе действия и агентности.

Заключение

Нынешняя жизнь моих информантов не содержит в себе большого числа событий: она подчинена скучной и малопримечательной рутине. Познакомившись со мной и увидев, что я проявляю интерес к историям об ужасной действительности интернатов и неблагополучных семей, мои информанты получили возможность продемонстрировать свои умения в создании захватывающих историй. Сами же умения, как я полагаю, они обрели значительно раньше, поскольку истории про детский дом, насилие в семье и в ПНИ должны были пользоваться спросом как у других подопечных этих учреждений, так и у волонтеров и сотрудников НКО, которые хотели их вызволить оттуда.

У моих информантов есть разные сюжеты в арсенале, чтобы создать интересную историю для человека, который ничего не смыслит в интернатской жизни и которому можно «повесить любую лапшу на уши», как, впрочем, рассказать и о действительно имевшем место опыте. Самое любопытное в этом сюжете, пожалуй, то, что некоторые информанты, не имея собственных ужасных историй, но понимая, как они работают и какой эффект вызывают, использовали «чужие», вплетая их в свой рассказ.

Однако спустя некоторое время, когда мои отношения с информантами стали ближе и теснее, тема насилия и «ужасов» почти перестала всплывать в наших разговорах, как, кстати, и многие другие, призванные меня шокировать, рассказы. Как-то раз я даже специально напомнила моему главному информанту Мите его первые истории, он удивился и признался, что тогда старался произвести впечатление. Таким образом, «ужасные истории» – это истории для «новичков», для тех, у кого можно вызвать любопытство таким способом.

Помимо возможности вызвать интерес и другие эмоции у слушателя, у «ужасных историй» есть другое не менее важное значение. Пересказывая мне эти сюжеты, мои информанты обнаруживали основу своей нынешней самостоятельности: уже в то время, когда они были, казалось бы, беззащитны, они сами принимали решения, были умнее, чем обидчики, и могли делать то, что им хочется. Так, мои информанты, сейчас находящиеся не в самом «свободном» положении опекаемых, стремились показать себя вершителями своей судьбы, поэтому «ужасные» истории – это также рассказы о заро-

ждении субъектности и агентности, и поэтому ценны и значимы для моих информантов.

Научная литература

- Алтухова А.Н.* Идиллия дома в деревне: Сельские поселения для людей с интеллектуальной инвалидностью // Обратная сторона луны или что мы не знаем об инвалидности: теория, репрезентации, практики / Отв. ред. А.С. Курленкова, Е.Э. Носенко-Штейн. М.: ООО «МБА», 2018. С. 323–355.
- Алтухова А.Н.* Интеллектуальная инвалидность и болезнь в условиях сопровождаемого проживания // Антропологический форум, 2018. № . 37. С. 120–148.
- Астоянц М.С.* Дети-сироты: анализ жизненных практик в условиях интернатного учреждения. Опыт включенного наблюдения // Социологические исследования, 2006. № 3. С. 54–63.
- Беккер Г.* Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности. Москва: Элементарные формы, 2018. 272 с.
- Бреева Е.Б.* Социальное сиротство. Опыт социологического обследования // Социологические исследования, 2004. № 4. С. 44–50.
- Гоффман Э.* Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений. Москва: Элементарные формы, 2019. 464 с.
- Дементьева И.Ф.* Факторы риска современного детства // Социологические исследования, 2011. № 10. С. 108–114.
- Келли К.* Дети государства, 1935-1953 // Неприкосновенный запас. Доступ: <http://magazines.russ.ru/nz/2008/2/kk5-pr.html> (дата обращения: 11.08.2020).
- Клепикова А.* Наверно я дурак: антропологический роман. СПб.: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге», 2018.
- Матюшева Т.Н.* Правовое регулирование образования детей-сирот, детей-инвалидов и детей с девиантным поведением в дореволюционной России и в СССР // Современное право, 2010. № 6. С. 147–151.
- Носенко-Штейн Е.Э.* Опыт другой жизни: саморепрезентация людей с ограниченными возможностями здоровья в автобиографиях // Обратная сторона луны или что мы не знаем об инвалидности: теория, репрезентации, практики / Отв. ред. А.С. Курленкова, Е.Э. Носенко-Штейн. М.: ООО «МБА», 2018. С. 95–126.
- Ярская-Смирнова Е.Р.* Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал, 1997. № 3. С. 38–61.
- Ярская-Смирнова Е.Р., Тенер Г.А., Грек Н.В.* Брошенные дети: проблемы профилактики раннего социального сиротства // Женщина в российском обществе, 2008. № . 3. С. 1–15.
- Bilson A., Markova G.* But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting // Social Work & Social Sciences Review, 2007. Vol. 12. No. 3. Pp. 57–78.
- Cox C.* Research, reform and new hope for russian orphans and abandoned children. Trajectories of Despair: Misdiagnosis and Maltreatment of Soviet Orphans // Criminal Behaviour and Mental Health, 1997. Vol. 7. No. 2. Pp. 111–116.
- De Fina A., Georgakopoulou A.* Analyzing narrative: Discourse and sociolinguistic perspectives. Cambridge University Press, 2011. 240 p.
- Dunn E.* The Disabled in Russia in the 1990s // Russia's Torn Safety Nets. Palgrave Macmillan US, 2000. Pp. 153–171.
- Elliott M.R.* Russian Children at Risk // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2008. Vol. 28. No. 3. P. 1-26.
- Langellier K.M.* You're marked. Breast cancer, tattoo and the narrative performance of identity // Narrative and identity: Studies in autobiography, self, and culture, 2001. Pp. 145–184.
- Nirje B.* I – the Normalization Principle – Implications and Comments // The Journal of Mental Subnormality, 1970. Vol. 16. No. 31. Pp. 62–70.

- Riessman C.K. Analysis of personal narratives // Qualitative research in social work. Boston University, 2000. Pp. 168–191.
- Riessman C.K. Even If We Don't Have Children [We] Can Live // Narrative and the cultural construction of illness and healing. University of California Press, 2000. Pp. 128–152.
- Rockhill E.K. Lost to the state: Family discontinuity, social orphanhood and residential care in the Russian Far East. Berghahn Books, 2010. 336 p.
- Schmidt V. Orphan care in Russia // Social Work & Society, 2009. Vol. 7. No. 1. Pp. 58–69.
- Scheff T.J. Being Mentally Ill: A Sociological Theory. Chicago: Aldine, 1966.
- Wortham S.E.F. Narratives in action: A strategy for research and analysis. Teachers College Press, 2001.

Altuhova, Anna.N.*

«Horrible Stories»: Memories of Former Pupils of a Boarding School for Children with Mental Retardation about their Childhood

DOI: 10.33876/2311-0546/2021-53-1/61-73

The article is devoted to the specific narrative genre “horrible stories” which is used by deinstitutionalized adults with learning disabilities. Most of the stories revolve around several common «traumatic» subjects which can be divided into two groups: horrible life in the family before institutionalization and gruesome life inside the institution (orphanages for children and adults). In this paper I analyze these narratives to show how, in the context of an interview, which reveals extremely different social statuses of its participants, these adults reconstruct their «traumatic» past and build their identities using a special narrative strategy – the demonstration of extremely extraordinary experiences. The purpose of this strategy is to arouse listener’s interest, respect, or empathy and it is a way to ask for help or some benefit, on the other hand this strategy allows them to declare their own agency by demonstrating intensive efforts to defend their subjectivity back in childhood.

Keywords: intellectual disability, narrative analysis, horrible stories, orphans

For Citation: Altuhova, A.N.. 2021. “Horrible Stories”: Memories of Former Pupils of a Boarding School for Children with Mental Retardation about their Childhood. *Herald of Anthropology (Vestnik Antropologii)* 1 (53): 61–73.

*Altuhova, Anna N. – associate research fellow, European University in Saint-Petersburg (Saint-Petersburg, RF). E-mail: ann.tract@gmail.com

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFFI, project No. 20-09-0063)

References

- Altukhova, A. 2018. Idilliia doma v derevne: Sel'skie poseleniia dlia liudei s intellektual'noi invalidnost'iu [The rural idyll: intellectual disability in the context of rural community group homes]. In: *Obratnaia storona luny ili chto my ne znaem ob invalidnosti: teoriia, reprezentatsii, praktiki* [The Other Side of the Moon, or What We Don't Know about Disability: Theory, Representations, Practices], edited by A.S. Kurlenkova and E.E. Nosenko-Shtein, 323–355. Moscow: OOO “MBA”.
- Altukhova, A.N. 2018. Intellektual'naia invalidnost' i bolezni v usloviakh soprovozhdaemogo prozhivaniia [Intellectual disability and illness: the case of community care in group homes]. *Antropologicheskii forum* 37: 120–148.
- Astoians, M.S. 2006. Deti-siroty: analiz zhiznennykh praktik v usloviakh internatnogo uchrezhdeniia. Opyt vkluchennogo nabludeniia [Orphan children: An analysis of life practices under conditions of a boarding institution]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* 3: 54–63.
- Becker, H. 2018. *Autsaidery: issledovaniia po sotsiologii deviantnosti* [Outsiders: studies in the sociology of deviance]. Moscow: Elementarnye formy.

- Bilson, A., Markova, G. 2007. But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting. *Social Work & Social Sciences Review* 12 (3): 57–78.
- Breeva, E.B. 2004. Sotsial'noe sirotstvo. Opyt sotsiologicheskogo obsledovaniia [Social orphans: Sociological study]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* 4: 44–50.
- Cox, C. 1997. Research, reform and new hope for russian orphans and abandoned children. Trajectories of Despair: Misdiagnosis and Maltreatment of Soviet Orphans. *Criminal Behaviour and Mental Health* 7 (2): 111–116.
- De Fina, A., Georgakopoulou, A. 2011. *Analyzing narrative: Discourse and sociolinguistic perspectives*. Cambridge University Press.
- Dement'eva, I.F. 2011. Faktory riska sovremennogo detstva [The risk factor of modern childhood]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* 10: 108–114.
- Dunn, E. 2000. The Disabled in Russia in the 1990s. In: *Russia's Torn Safety Nets*, Palgrave Macmillan US, 153–171.
- Elliott, M.R. 2008. Russian Children at Risk. *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe* 28 (3): 1–26.
- Goffman, E. 2019. *Total'nye instituty: ocherki o sotsial'noi situatsii psikhicheski bol'nykh patsientov i prochikh postoial'tsev zakrytykh uchrezhdenii* [Total institutions: essays on the social situation of mentally ill patients and other residents of privat institutions]. Moscow: Elementarnye formy.
- Iarskaia-Smirnova, E.R. 1997. Narrativnyi analiz v sotsiologii [Narrative analysis in sociology]. *Sotsiologicheskii zhurnal* 3: 38–61.
- Iarskaia-Smirnova E.R., Teper G.A., Grek N.V. 2008. Broshennye deti: problemy profilaktiki ranego sotsial'nogo sirotstva [Abandoned children: problems of preventing early social orphanhood]. *Zhenshchina v rossiiskom obshchestve* 3: 1–15.
- Kelli, K. 2008. Deti gosudarstva, 1935–1953 [Children of the state, 1935–1953]. *Neprikosnovennyi zapas*. <http://magazines.russ.ru/nz/2008/2/kk5-pr.html>.
- Klepikova, A. 2018. *Naverno ia durak: antropologicheskii roman* [I'm probably an idiot: anthropological novel]. Saint-Peterburg: Avtonomnaia nekommercheskaia obrazovatel'naia organizatsiia vysshego obrazovaniia "Evropeiskii universitet v Sankt-Peterburge".
- Langellier, K.M. 2001. You're marked. Breast cancer, tattoo and the narrative performance of identity. In *Narrative and identity: Studies in autobiography, self, and culture*, edited by Brockmeier, Jens and Carbaugh, Donald, 145–184.
- Matusheva, T.N. 2010. Pravovoe regulirovanie obrazovaniia detei-sirot, detei-invalidov i detei s deviantnym povedeniem v dorevoliutsionnoi Rossii i v SSSR [Legal regulation of education for orphans, disabled children and children with deviant behavior in pre-revolutionary Russia and the USSR]. *Sovremennoe pravo* 6: 147–151.
- Nirje, B. 1970. I – the Normalization Principle – Implications and Comments. *The Journal of Mental Subnormality* 16 (31): 62–70.
- Nosenko-Shtein, E.E. 2018. Opyt drugoi zhizni: samoreprezentatsiia liudei s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia v avtobiografiakh [Another life experience: self-representation of people with disabilities in autobiographies]. In: *Obratnaia storona luny ili chto my ne znaem ob invalidnosti: teoriia, reprezentatsii, praktiki* [The Other Side of the Moon, or What We Don't Know about Disability: Theory, Representations, Practices], edited by A.S. Kurlenkova and E.E. Nosenko-Shtein, 95–126. M.: OOO "MBA".
- Riessman, C.K. 2000. Analysis of personal narratives. In: *Qualitative research in social work*, Boston University, 168–191.
- Riessman, C.K. 2000. Even If We Don't Have Children [We] Can Live. In: *Narrative and the cultural construction of illness and healing*. University of California Press, 128–152.
- Rockhill, E.K. 2010. *Lost to the state: Family discontinuity, social orphanhood and residential care in the Russian Far East*. Berghahn Books.
- Scheff, T.J. 1966. *Being Mentally Ill: A Sociological Theory*. Chicago: Aldine.
- Schmidt, V. 2009. Orphan care in Russia. *Social Work & Society* 7 (1): 58–69.
- Wortham, S.E.F. 2001. *Narratives in action: A strategy for research and analysis*. Teachers College Press.